

4. Креольские пионеры

Новые американские государства конца XVIII — начала XIX вв. необычайно интересны, поскольку, видимо, почти невозможно объяснить их теми двумя факторами, которые — вероятно, из-за прямой их выводимости из европейских национализмов середины века — в немалой степени определили провинциальное европейское понимание подъема национализма.

Во-первых, ведем ли мы речь о Бразилии, США или бывших колониях Испании, во всех этих случаях язык не был элементом, дифференцирующим их от соответствующих имперских метрополий. Все они, в том числе США, были креольскими государствами, которые создали и возглавляли люди, имевшие общий язык и общее происхождение с теми, против кого они боролись[126]. На самом деле, можно уверенно сказать, что в их ранней борьбе за национальное освобождение вопрос о языке никогда даже не ставился.

Во-вторых, есть серьезные основания усомниться в применимости к большей части Западного полушария убедительного во всех иных отношениях тезиса Нейрна, который гласит:

“ «Пришествие национализма, в сугубо современном смысле этого слова, было связано с политическим крещением низших классов... Хотя иной раз националистические движения и были враждебны демократии, они неизменно были популистскими по мировоззрению и стремились вовлечь в политическую жизнь низшие классы. В наиболее типичной своей версии это отлилось в форму неустанного лидерства среднего класса и интеллектуалов, пытавшихся всколыхнуть силы народного класса и направить их на поддержку новых государств»[127].

В конце XVIII в. «средние классы» европейского типа, по крайней мере в Южной и Центральной Америке, были все еще незначительны. Не было там и того, что было бы достаточно похоже на нашу интеллигенцию. Ибо «в те спокойные колониальные дни чтение почти не прерывало размеренный и снобистский ритм жизни людей»[128]. Как мы уже видели, первый испано-американский роман был опубликован лишь в 1816 г., много лет спустя после того, как разразились войны за независимость. Это ясно свидетельствует о том, что лидерство в этих войнах принадлежало состоятельным землевладельцам, выступавшим в союзе с несколько меньшим числом торговцев и разного рода профессионалов (юристов, военных, местных и провинциальных функционеров)[129].

В таких важных случаях, как Венесуэла, Мексика и Перу, одним из ключевых факторов, который с самого начала подстегивал стремление к независимости от Мадрида, было вовсе не стремление «вовлечь низшие классы в политическую жизнь», а, напротив, страх перед политическими мобилизациями «низших классов»: а именно, восстаниями индейцев или

негров-рабов[130]. (Этот страх лишь возрос, когда в 1808 г. гегелевский «секретарь мирового духа» покорила Испанию, лишив тем самым креолов военной поддержки с полуострова на случай возникновения чрезвычайной ситуации.) В Перу были еще свежи воспоминания о великой жакерии под предводительством Тупака Амару (1780–1781)[131]. В 1791 г. Туссен-Лувертюр возглавил восстание чернокожих рабов, которое привело к рождению в 1804 г. второй независимой республики в Западном полушарии — и до смерти напугало крупных плантаторов-рабовладельцев Венесуэлы[132]. Когда в 1789 г. Мадрид издал новый, более гуманный закон о рабах, в котором детально расписывались права и обязанности хозяев и рабов, «креолы отвергли вмешательство государства, ссылаясь на то, что рабы склонны к пороку и независимости [!] и необходимы для хозяйства. В Венесуэле — и, по существу, во всех испанских владениях на Карибах — плантаторы выступили против этого закона и добились в 1794 г. его приостановки»[133]. Освободитель Боливар и сам некогда считал, что негритянский бунт «в тысячу раз хуже, чем испанское вторжение»[134]. Не следует забывать и о том, что аграрными магнатами-рабовладельцами были многие лидеры движения за независимость в тринадцати колониях. Даже Томас Джефферсон принадлежал к числу виргинских плантаторов, гневно отреагировавших в 70-е годы XVIII в. на лоялистское заявление губернатора об освобождении рабов, порвавших отношения со своими хозяевами-бунтарями[135]. Показательно, что одна из причин, позволивших Мадриду в 1814–1816 гг. успешно вернуть свои утраченные было позиции в Венесуэле и до 1820 г. удерживать под своей властью далекий Кито, состояла в том, что в борьбе против взбунтовавшихся креолов он завоевал поддержку рабов (в первой) и индейцев (в последнем)[136]. Более того, продолжительность континентальной борьбы против Испании, ставшей к тому времени второразрядной европейской державой, которая вдобавок к тому и сама только что была завоевана, предполагает некоторую «социальную узость» этих латиноамериканских движений за независимость.

И все-таки это были движения за национальную независимость. Боливар позже изменил свое мнение о рабах[137], а его соратник-освободитель Сан-Мартин в 1821 г. постановил, дабы «в будущем местных жителей не называли более индейцами или туземцами; они дети и граждане Перу и впредь будут известны как перуанцы»[138]. (Мы могли бы добавить: невзирая на то, что печатный капитализм до сих пор так и не добрался до этих неграмотных людей.)

Итак, здесь есть загадка: почему именно креольские сообщества так рано сформировали представление о том, что они нации, — задолго до большинства сообществ Европы? Почему такие колониальные провинции, обычно содержавшие большие, угнетенные, не говорившие по-испански населения, породили креолов, сознательно переопределивших эти населения как собратьев по нации? А Испанию[139], с которой они были столь многим связаны, — как враждебных иностранцев? Почему испано-американская империя, безмятежно существовавшая на протяжении почти трех столетий, вдруг неожиданно распалась на восемнадцать самостоятельных государств?

Двумя факторами, на которые, объясняя это, чаще всего ссылаются, являются ужесточение контроля со стороны Мадрида и распространение во второй половине XVIII века освободительных идей Просвещения. Несомненно, верно, что политика, проводимая талантливым «просвещенным деспотом» Карлом III (правил в 1759–1788 гг.) все более

разочаровывала, сердила и тревожила высшие креольские классы. В ходе того, что иногда язвительно называли вторым покорением Америк, Мадрид насаждал новые налоги, делал более эффективным их сбор, насильно утверждал торговый монополизм метрополии, ограничивал в свою пользу внутреннюю торговлю в Западном полушарии, централизовывал административные иерархии и поощрял массовую иммиграцию peninsulares[140][141]. Например, Мексика в начале XVIII в. приносила Короне годовой доход в размере около 3 млн. песо. Но уже к концу столетия эта сумма возросла почти в пять раз и достигла 14 млн., из которых лишь 4 млн. уходило на покрытие расходов местной администрации[142]. Параллельно этому наплыв мигрантов с полуострова вырос к десятилетию 1780–1790 гг. в пять раз по сравнению с периодом 1710–1730 гг.[143]

Нет сомнений и в том, что совершенствование трансатлантических сообщений и то обстоятельство, что различные Америки разделяли со своими метрополиями общие языки и культуры, предполагали относительно быструю и легкую передачу новых экономических и политических доктрин, производимых в Западной Европе. Успех бунта тринадцати колоний в конце 1770-х и начало Французской революции в конце 1780-х просто не могли не оказать своего могущественного влияния. Ничто не подтверждает эту «культурную революцию» более, чем всепроникающее республиканство новообразованных независимых сообществ[144]. Нигде в Америках не предпринималось сколь-нибудь серьезных попыток возродить династический принцип, за исключением разве что Бразилии; но даже и там это, вероятно, оказалось бы невозможно, если бы в 1808 г. туда не иммигрировал, спасаясь от Наполеона, сам португальский монарх. (Он оставался там на протяжении 13 лет и по возвращении на родину короновал собственного сына как Педру I Бразильского.)[145]

Вместе с тем, агрессивность Мадрида и дух либерализма, хотя и имеют ключевое значение для понимания импульса к сопротивлению в испанских Америках, еще не объясняют сами по себе ни того, почему такие единицы, как Чили, Венесуэла и Мексика, оказались эмоционально правдоподобны и политически жизнеспособны[146], ни того, почему Сан-Мартину пришлось издать закон, требовавший идентифицировать определенный контингент коренного населения с помощью неологизма «перуанцы». Не объясняют они, в конечном счете, и принесенных реальных жертв. Ибо в то время как высшие креольские классы, понимаемые как исторические социальные образования, на протяжении долгого времени, бесспорно, прекрасно обходились без независимости, многие реальные члены этих классов, жившие в промежутке между 1808 и 1828 гг., оказались в состоянии финансового краха. (Взять хотя бы один пример: во время развернутого Мадридом в 1814–1816 гг. контрнаступления «более двух третей землевладельческих семей Венесуэлы пострадали от конфискаций».)[147] И столь же многие добровольно отдали за общее дело свои жизни. Эта готовность к жертвам со стороны благополучных классов дает пищу для размышлений.

Что же тогда даст нам искомое объяснение? Первую зацепку для ответа на этот вопрос мы находим в том поразительном факте, что «каждая из новообразованных южноамериканских республик была с XVI до XVIII вв. административной единицей»[148]. В этом отношении они стали предвестницами новых государств, появившихся в середине XX в. в Африке и разных районах Азии, и разительно отличаются от новых европейских государств конца XIX — начала XX вв. Первоначальные очертания американских административных единиц были в какой-то степени произвольными и случайными, помечая пространственные пределы

отдельных военных завоеваний. Но под влиянием географических, политических и экономических факторов они обрели со временем более прочную реальность. Сама обширность испано-американской империи, необычайное разнообразие ее почв и климатов и, прежде всего, исключительная затруднительность коммуникаций в доиндустриальную эпоху способствовали приданию этим единицам самостоятельного характера. (В колониальную эпоху морское путешествие из Буэнос-Айреса в Акапулько занимало четыре месяца, а обратная дорога и того больше; сухопутная поездка из Буэнос-Айреса в Сантьяго длилась обычно два месяца, а поездка в Картахену — и все девять.)[149] Вдобавок к тому, торговая политика Мадрида привела к превращению административных единиц в отдельные экономические зоны. «Всякая конкуренция с родной страной была американцам запрещена, и даже отдельные части континента не могли торговать друг с другом. Американским товарам, переправляемым из одного уголка Америки в другой, приходилось путешествовать окружным путем через испанские порты, и испанский флот обладал монополией на торговлю с колониями»[150]. Эти обстоятельства помогают объяснить, почему «одним из основных принципов американской революции» был принцип «*uti possidetis*, согласно которому каждой нации следовало соблюдать территориальный статус-кво 1810 г. — года, на который приходится начало движения за независимость»[151]. Их влияние также, несомненно, внесло свой вклад в распад недолго просуществовавшей Великой Колумбии Боливара и Объединенных провинций Рио-де-ла-Платы на их прежние составные части (известные в настоящее время как Венесуэла — Колумбия — Эквадор и Аргентина — Уругвай — Парагвай — Боливия). Тем не менее, сами по себе рыночные зоны, будь то «естественно»-географические или политико-административные, не создают привязанностей. Найдется ли хоть кто-нибудь, кто добровольно пожертвует жизнью за СЭВ или ЕЭС?

Чтобы увидеть, как административные единицы с течением времени могли быть восприняты как отечества, причем не только в Америках, но и в других частях земного шара, необходимо обратиться к тому, каким образом административные организации создают смысл. Антрополог Виктор Тернер восхитительно описал «путешествие» — между временами, статусами и местами — как смыслопорождающий опыт[152]. Все такие путешествия требуют интерпретации (например, путешествие от рождения к смерти породило различные религиозные представления). Для целей, которые мы здесь перед собой ставим, моделью путешествия служит паломничество. Дело не просто в том, что в умах христиан, мусульман или индусов такие города, как Рим, Мекка или Бенарес, были центрами сакральных географий, но и в том, что их центральность переживалась и «наглядно воплощалась» (в драматургическом смысле) постоянным потоком паломников, движущихся в их сторону из отдаленных и иным образом никак не связанных друг с другом местностей. В сущности, внешние пределы старых религиозных сообществ воображения в некотором смысле определялись тем, какие паломничества совершали люди[153]. Как уже ранее отмечалось, странное физическое соседство малайцев, персов, индийцев, берберов и турок в Мекке есть нечто непостижимое без отлившегося в какую-то форму представления об их общности. Бербер, сталкиваясь с малайцем у ворот Каабы, образно говоря, должен

спросить самого себя: «Почему этот человек делает то же, что и я делаю, произносит те же слова, что и я произношу, хотя мы не можем даже поговорить друг с другом?» И как только возникает такой вопрос, на него существует один-единственный ответ: «Потому что мы... мусульмане». Разумеется, в хореографии великих религиозных паломничеств всегда была некая двойственность: огромные толпы неграмотных людей, говоривших на своих родных языках, обеспечивали плотную, физическую реальность церемониального перехода; и в то же время небольшой сегмент грамотных двуязычных адептов из разных языковых сообществ выполнял объединяющие обряды, истолковывая соответствующим группам приверженцев смысл их коллективного движения[154]. В эпоху до появления книгопечатания реальность воображаемого религиозного сообщества зависела в первую очередь от бесчисленных, непрекращающихся путешествий. Ничто так не впечатляет в западном христианском мире периода его величия, как добровольный поток верующих искателей, стекавшихся со всех концов Европы через знаменитые «региональные центры» монашеского обучения в Рим. Эти великие латиноязычные институты собирали вместе людей, которых мы, возможно, назвали бы сегодня ирландцами, датчанами, португальцами, немцами и т. д., в сообществах, сакральный смысл которых каждодневно выводился из иначе не объяснимого соседства их членов в монастырской трапезной.

Хотя религиозные паломничества — это, вероятно, самые трогательные и грандиозные путешествия воображения, у них были и есть более скромные и ограниченные мирские аналоги[155]. С точки зрения наших целей, наиболее важными среди них были новые переходы, созданные появлением стремящихся к абсолютности монархий, а в конечном счете, мировых имперских государств с центрами в Европе. Внутренний импульс абсолютизма был направлен на создание унифицированного аппарата власти, непосредственно подчиненного правителю и преданного правителю, в противовес децентрализованному, партикуляристскому феодальному дворянству. Унификация предполагала внутреннюю взаимозаменяемость людей и документов. Взаимозаменяемости людей способствовала вербовка (проводимая естественно, в разных масштабах) *homines novi*[156], которые, по этой самой причине, не имели собственной независимой власти, а следовательно, могли служить эманациями воли своих господ[157]. Абсолютистские функционеры совершали, стало быть, путешествия, принципиально отличные от путешествий феодальных дворян[158]. Это различие можно схематично описать следующим образом: В образцовом феодальном путешествии наследник Дворянина А после смерти своего отца поднимается на одну ступень вверх, дабы занять отцовское место. Это восхождение требует поездки туда и обратно: в центр, где его вводят во владение, и обратно, в родовое имение предков. Для нового функционера, однако, все усложняется. Талант, а не смерть, прокладывает его курс. Он видит впереди себя вершину, а не центр. Он взбирается по кручам серией петляющих движений, которые, как он надеется, будут становиться короче и экономнее по мере того, как он будет приближаться к вершине. Посланный в местечко А в ранге V, он может возвратиться в столицу в ранге W, отправиться далее в провинцию В в ранге X, затем в вице-королевство С в ранге Y и завершить свое путешествие в столице в ранге Z. В этом путешествии не гарантируется никаких привалов; каждая пауза что-то да предвещает. Чего функционер желает в самую последнюю очередь, так это возвращения домой; ибо у него нет дома, который бы обладал для него неотъемлемой ценностью. И вот еще что: на своем спирально-восходящем пути он встречает других целеустремленных паломников — своих коллег-функционеров из мест и

семей, о которых он вряд ли вообще когда что-либо слышал и которые он, разумеется, надеется никогда не увидеть. Однако в переживании их как компаньонов-по-путешествию появляется сознание связности («Почему мы... здесь... вместе?»), и прежде всего это происходит тогда, когда все они разделяют единый государственный язык. Но если чиновник А из провинции В управляет провинцией С, а чиновник D из провинции С управляет провинцией В — а такая ситуация при абсолютизме начинает становиться вероятной, — это переживание взаимозаменяемости требует своего собственного объяснения: идеологии абсолютизма, которую разрабатывают как суверен, так и в не меньшей степени сами эти новые люди.

Взаимозаменяемости документов, которая усиливала человеческую взаимозаменяемость, содействовало развитие стандартизированного государственного языка. Как демонстрирует величественная вереница англосаксонского, латинского, норманнского и староанглийского языков, сменявших друг друга с XI до XIV вв. в Лондоне, в принципе любой письменный язык мог выполнять эту функцию — при условии предоставления ему монопольных прав. (Можно, однако, выдвинуть аргумент, что там, где такую монополию довелось завоевать местным языкам, а не латыни, появилась еще одна централизующая функция, ограничивающая дрейф чиновников от одного суверена в аппараты его соперников: гарантирующая, так сказать, что паломники-функционеры из Мадрида не будут взаимозаменяемы с паломниками-функционерами из Парижа).

В принципе, экспансия великих королевств раннесовременной Европы за пределы Европы должна была просто территориально распространить описанную модель на развитие великих трансконтинентальных бюрократий. Но в действительности этого не произошло. Инструментальная рациональность абсолютистского аппарата — и прежде всего, свойственная ему тенденция рекрутировать и продвигать людей по службе на основании их талантов, а не рождения — работала за пределами восточного побережья Атлантики лишь с очень большими сбоями[159].

Американская модель ясна. Например, из 170 вице-королей в испанской Америке до 1813 г. креолами были только четверо. Эти цифры тем более впечатляют, если мы обратим внимание на то, что в 1800 г. в 3,2-миллионном креольском «белом» населении Западной империи (навязанном приблизительно 13,7 млн. туземцев) испанцы, рожденные в Испании, не составляли и 5 %. В Мексике накануне революции был всего один креольский епископ, хотя креольское население этого вице-королевства численно превосходило *peninsulares* в 70 раз[160]. Нет необходимости и говорить, что для креола было неслыханным делом подняться на высокий официальный пост в Испании[161]. Более того, препонами были обставлены не только вертикальные паломничества креольских функционеров. Если полуостровные чиновники могли проделать путь из Сарагосы в Картахену, потом в Мадрид, Лиму и опять в Мадрид, то «мексиканский» или «чилийский» креол, как правило, служил лишь на территориях колониальной Мексики или Чили: горизонтальное движение было для него так же ограничено, как и вертикальное восхождение. Таким образом, конечной вершиной его петляющего восхождения, высшим административным центром, куда его могли назначить на должность, была столица той имперской административной единицы, в которой ему довелось жить[162]. Между тем, в ходе этого тернистого паломничества он сталкивался с компаньонами-по-путешествию, и у них стало складываться ощущение, что их

товарищество базируется не только на особых пространственных границах этого паломничества, но и на общей для них фатальности трансатлантического рождения. Даже если он родился в первую неделю после миграции своего отца, случайность рождения в Америках приговаривала его быть в подчинении у урожденного испанца, пусть даже по языку, религии, происхождению или манерам он почти ничем от него не отличался. И с этим ничего нельзя было поделать: он непоправимо становился креолом. Подумайте только, насколько иррациональным должно было выглядеть его исключение! Тем не менее, в глубине этой иррациональности скрывалась следующая логика: родившись в Америках, он не мог стать настоящим испанцем; ergo[163], родившись в Испании, peninsular не мог стать настоящим американцем[164].

Что заставляло это исключение казаться в метрополии рациональным? Несомненно, слияние освященного временем макиавеллизма с развитием представлений о биологическом и экологическом осквернении, которым начиная с XVI в. сопровождалось всемирное распространение европейцев и европейского владычества. С точки зрения суверена, американские креолы, с их все более растущей численностью и возраставшей с каждым последующим поколением локальной укорененностью, представляли собой исторически уникальную политическую проблему. Впервые метрополиям пришлось иметь дело с огромным — для той эпохи — числом «собратьев-европейцев» (к 1800 г. их в испанских Америках было более 3 млн.) далеко за пределами Европы. Если туземцев можно было покорить оружием и болезнями и удерживать под контролем с помощью таинств христианства и совершенно чуждой им культуры (а также передовой, по тем временам, политической организации), то это никак не касалось креолов, которые были связаны с оружием, болезнями, христианством и европейской культурой практически так же, как и жители метрополий. Иначе говоря, они уже в принципе располагали готовыми политическими, культурными и военными средствами для того, чтобы успешно за себя постоять. Они конституировали одновременно и колониальное сообщество, и высший класс. Их можно было экономически подчинить, их можно было эксплуатировать, но без них была невозможна стабильность империи. В этом свете можно усмотреть некоторую параллель в положении креольских магнатов и феодальных баронов, которое имело решающее значение для могущества суверена, но вместе с тем и таило для него угрозу. Таким образом, peninsulares, назначаемые вице-королями и епископами, выполняли те же самые функции, что и homines novi в протоабсолютистских бюрократиях[165]. Даже если вице-король был всевластным грандом в своем андалусском доме, здесь, в 5 тыс. миль от него, сталкиваясь лицом к лицу с креолами, он был в конечном итоге homo novus, полностью зависимым от своего заокеанского господина. Хрупкое равновесие между полуостровным чиновником и креольским магнатом было, таким образом, выражением старой политики divide et impera[166] в новой обстановке.

Вдобавок к тому, рост креольских сообществ — главным образом в Америках, но также в разных районах Азии и Африки — неизбежно вел к появлению евразиятов, евроафриканцев, а также евроамериканцев, причем не как случайных курьезов, а как вполне зримых социальных групп. Их появление позволило расцвести особому стилю мышления, который стал предвестником современного расизма. Португалия, первая из европейских покорительниц планеты, дает на этот счет подходящую иллюстрацию. В последнем десятилетии XV в. Мануэл I все еще мог «решать» свой «еврейский вопрос» посредством

массового насильного обращения; возможно, это был последний европейский правитель, находивший это решение как удовлетворительным, так и «естественным»[167]. Однако не прошло и ста лет, как появляется Александр Валиньяно, великий реорганизатор иезуитской миссии в Азии (с 1574 по 1606 гг.), страстно возражающий против допущения индийцев и евроиндийцев к принятию священного сана:

“ «Все эти смуглые расы необычайно тупы и порочны, да к тому же еще и подлы... Что касается *mestiços* и *castiços*, то из них нам следует принимать немногих или вообще никого; в особенности это касается *mestiços*, ибо чем больше в них течет туземной крови, тем больше они напоминают индийцев и тем менее они ценны для португальцев»[168].

(И вместе с тем Валиньяно активно содействовал допущению к выполнению священнической функции японцев, корейцев, китайцев и «индокитайцев» — может быть, потому что в этих зонах метисам еще только предстояло во множестве появиться?) Аналогичным образом, португальские францисканцы в Гоа яростно сопротивлялись принятию в орден креолов, заявляя, что «даже рожденные от беспримесно белых родителей, [они] были вскормлены во младенчестве индейскими няньками и тем самым запятнали свою кровь на всю оставшуюся жизнь»[169]. Боксер показывает, что в XVII–XVIII вв. «расовые» барьеры и исключения заметно возросли по сравнению с прежней практикой. В эту пагубную тенденцию внесло свой весомый вклад широкомасштабное возрождение рабства (произошедшее в Европе впервые со времен античности), пионером которого стала в 1510 г. Португалия. Уже в середине XVI в. рабы составляли 10 % населения Лиссабона; к 1800 г. из приблизительно 2,5 млн. жителей португальской Бразилии почти 1 млн. человек были рабами[170].

Кроме того, косвенное влияние на кристаллизацию фатального различия между жителями метрополий и креолами оказало Просвещение. В ходе своего 22-летнего пребывания у власти (1755–1777) просвещенный самодержец Помбал не только изгнал из португальских владений иезуитов, но и постановил считать уголовным преступлением обращение к «цветным» подданным с такими оскорбительными прозвищами, как «ниггер» или «метис» [sic]. Однако в оправдание этого указа он ссылался не на учения *philosophes*, а на древнеримские концепции имперского гражданства[171]. Что еще более типично, широким влиянием пользовались сочинения Руссо и Гердера, в которых доказывалось, что климат и «экология» оказывают основополагающее воздействие на культуру и характер[172]. Отсюда чрезвычайно легко было сделать удобный вульгарный вывод, что креолы, рожденные в дикарском полушарии, отличны по своей природе от жителей метрополии и находятся на низшей, по сравнению с ними, ступени — а стало быть, непригодны для занятия высоких государственных постов[173].

До сих пор наше внимание было сосредоточено на мирах функционеров в Америках — мирах стратегически важных, но все еще небольших. Более того, это были миры, предвосхитившие

своими конфликтами между peninsulares и креолами появление в конце XVIII в. американского национального сознания. Стесненные паломничества наместников не приводили к решающим последствиям до тех пор, пока не появилась возможность вообразить их территориальные протяженности как нации, иными словами, пока не появился печатный капитализм.

Сама печать проникла в Новую Испанию рано, но на протяжении двух столетий оставалась под жестким контролем короны и церкви. К концу XVII в. типографии существовали только в Мехико и Лиме, и их продукция была почти всецело церковной. В протестантской Северной Америке печать вряд ли вообще в тот век существовала. Однако в XVIII в. произошла настоящая революция. В период с 1691 по 1820 гг. издавалось не менее 2120 «газет», из которых 461 просуществовала более десяти лет[174].

В северных Америках с креольским национализмом неразрывно связана фигура Бенджамина Франклина. Однако важность его профессии, возможно, не столь заметна. И в этом вопросе нас, опять-таки, просвещают Февр и Мартен. Они напоминают нам, что «печать в [Северной] Америке в XVIII в. реально получила развитие лишь тогда, когда печатники открыли для себя новый источник дохода — газету»[175]. Открывая новые типографии, печатники всегда включали газету в перечень выпускаемой продукции и обычно были основными или даже единственными ее корреспондентами. Таким образом, печатник-журналист изначально был сугубо североамериканским феноменом. Поскольку главная проблема, с которой приходилось сталкиваться печатнику-журналисту, состояла в том, как добраться до читателей, сложился его союз с почтмейстером, притом настолько близкий, что каждый из них нередко превращался в другого. Таким образом, профессия печатника возникла как своего рода «ключ» к североамериканским коммуникациям и интеллектуальной жизни сообщества. В испанской Америке аналогичные процессы тоже привели во второй половине XVIII в. к появлению первых местных типографий, хотя там этот процесс протекал медленнее и не так гладко[176].

Что было характерно для первых американских газет, северных и южных? Они зарождались по существу как приложения к рынку. Первые газеты содержали — помимо новостей о метрополии — коммерческие новости (когда приходят и уходят корабли, по каким ценам идут в тех или иных портах те или иные товары), а также сообщения о колониальных политических назначениях, бракосочетаниях состоятельных людей и т. д. Иначе говоря, тем, что сводило на одной и той же странице это бракосочетание с тем кораблем, эту цену с тем епископом, была сама структура колониальной администрации и рыночной системы. А стало быть, газета, выходящая в Каракасе, вполне естественно и даже аполитично создавала воображаемое сообщество в кругу специфического собрания читателей, которым эти корабли, невесты, епископы и цены принадлежали. Со временем, разумеется, оставалось лишь ожидать вхождения в него политических элементов.

Одной из плодотворных характеристик таких газет всегда была их провинциальность. Колониальный креол, представься ему такая возможность, мог почитать мадридскую газету (хотя она ничего бы ему не сказала о его мире), но многие полуостровные чиновники, жившие на той же самой улице, зачастую не стали бы, даже имея такую возможность, читать каракасскую печатную продукцию. Асимметрия, до бесконечности воспроизводимая

в других колониальных ситуациях. Другой важной особенностью этих газет была множественность. Испано-американские газеты, получившие развитие к концу XVIII в., сочинялись провинциалами с полным осознанием миров, существовавших параллельно их собственному. Читатели газет из Мехико, Буэнос-Айреса и Боготы, даже если и не читали газет друг друга, вполне сознавали, несмотря на это, их существование. Отсюда широко известная двойственность раннего испано-американского национализма, чередование в нем широкомасштабности с партикуляристским локализмом. Тот факт, что ранние мексиканские националисты писали о себе как о *nosotros los Americanos*[177], а о своей стране как о *nuestra America*[178], толковался как выражение тщеславия местных креолов, которые — в силу того, что Мексика была ценнейшим из американских владений Испании, — считали себя центром Нового Света[179]. Однако на самом деле все в испанской Америке мыслили себя «американцами», ибо этот термин обозначал общую фатальность их внеиспанского рождения[180].

В то же время мы увидели, что сама концепция газеты предполагает преломляющее преобразование даже «мировых событий» в специфический воображаемый мир местноязычных читателей, и увидели, насколько важна для этого воображаемого сообщества идея устойчивой, прочной одновременности во времени. Воображению такой одновременности мешали колоссальная протяженность испано-американской империи и обособленность ее составных частей[181]. Мексиканские креолы могли узнавать о событиях в Буэнос-Айресе с опозданием на несколько месяцев, но узнавали о них из мексиканских газет, а не газет, издававшихся в Рио-де-ла-Плате; и эти события обычно казались «похожими» на события в Мексике, но не казались «частью» этих событий.

В этом смысле «неспособность» испано-американского опыта родить постоянный всеиспано-американский национализм отражает как общий уровень развития капитализма и технологии конца XVIII в., так и «локальную» отсталость испанского капитализма и технологии, связанную с административной протяженностью империи. (Всемирно-историческая эпоха, в которую рождается каждый национализм, вероятно, оказывает значительное влияние на его масштабы. Разве можно отделить индийский национализм от колониальной политики административно-рыночной унификации, проводимой после восстания сипаев самой огромной и передовой из имперских держав?)

Протестантские, англоязычные креолы, жившие к северу, находились в гораздо более выгодном положении, чтобы реализовать идею «Америки», и в конце концов действительно добились успеха в присвоении себе повседневного звания «американцев». Исходные тринадцать колоний занимали территорию, которая была меньше территории Венесуэлы и составляла лишь треть от размера Аргентины[182]. Будучи географически скученными, их рыночные центры, находившиеся в Бостоне, Нью-Йорке и Филадельфии, были легкодоступны друг для друга, и их население было сравнительно тесно связано как торговлей, так и печатью. В последующие 183 года «Соединенные Штаты» могли постепенно численно умножаться по мере того, как старое и новое население перемещалось на запад из старого центра на восточном побережье. И все-таки даже в случае США есть элементы сравнительной «неудачи», или съёживания притязаний: неприсоединение англоязычной Канады, десять лет независимого суверенного существования Техаса (1835–1846). Если бы вдруг в XVIII в. в Калифорнии существовало

внушительных размеров англоязычное сообщество, разве не вероятно, что и там возникло бы независимое государство, которое сыграло бы в отношении тринадцати колоний такую же роль, какую сыграла Аргентина в отношении Перу? Даже в США аффективные узлы национализма были достаточно эластичными, чтобы в сочетании с быстрой экспансией западного фронта и противоречиями между экономиками Севера и Юга ввергнуть их почти столетие спустя после Декларации независимости в пучину гражданской войны; и эта война сегодня остро напоминает нам о тех войнах, которые оторвали Венесуэлу и Эквадор от Великой Колумбии, а Уругвай и Парагвай — от Объединенных провинций Рио-де-ла-Платы[183].

В качестве предварительного вывода, возможно, будет уместно еще раз подчеркнуть узкие и специфические задачи вышеприведенной аргументации. Она нацелена не столько на объяснение социально-экономических оснований сопротивления, направленного в Западном полушарии против метрополий в период, скажем, с 1760 по 1830 гг., сколько на объяснение того, почему это сопротивление было воспринято во множественных, «национальных» формах — а не в каких-либо других. Экономические интересы, поставленные на карту, хорошо известны и явно имеют основополагающее значение. Либерализм и Просвещение тоже, несомненно, оказали мощное влияние, прежде всего тем, что дали арсенал идеологической критики имперских и *anciens régimes*[184]. Однако, как я предполагаю, ни экономический интерес, ни либерализм, ни Просвещение не могли сами по себе создать и не создавали тот тип, или форму, воображаемого сообщества, который необходимо было защищать от посягательств этих режимов; иначе говоря, ничто из них не создавало общую рамку нового сознания — т. е. едва заметную периферию его поля зрения, — в отличие от попадавших в центр этого поля объектов восхищения или отвращения[185]. Решающую историческую роль в осуществлении этой особой задачи сыграли креольские паломники-функционеры и провинциальные креольские печатники.

Версия #1

Зверобой создал 12 апреля 2025 23:16:24

Зверобой обновил 12 апреля 2025 23:19:31